Николай Добролюбов

Благонамеренность и деятельность

Николай Александрович Добролюбов
Благонамеренность и деятельность

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3086505

Аннотация

«…Повести г. Плещеева не выходят из уровня, который установился вообще для произведений той школы беллетристов, которую, пожалуй, по главному ее представителю, мы можем назвать тургеневскою. Постоянный мотив ее тот, что «среда заедает человека». Мотив хороший и очень сильный; но им до сих пор не умели еще у нас хорошо воспользоваться. Человек, «заеденный средою», изображался иногда в повестях тургеневской школы довольно живо; но самая «среда» и ее отношение к человеку рисовались бледно и слабо…»

Содержание

Примечания 40
Комментарии

Николай Александрович Добролюбов
Благонамеренность и деятельность

(Повести и рассказы А. Плещеева. Москва. 1860. Две части.)

Повести г. Плещеева печатались во всех наших лучших журналах и были прочитываемы в свое время. Потом о них забывали. Толков и споров повести его никогда не возбуждали ни в публике, ни в литературной критике: никто их не хвалил особенно, но и не бранил никто. Большею частью повесть прочитывали и оставались довольны; тем дело и кончалось…

Указанный нами весьма достоверный факт говорит, конечно, не в пользу особенной оригинальности и яркости таланта автора, да и сам он, очевидно, не претендует на эти качества. Следовательно, и мы можем уволить себя от скучнейших эстетических рассуждений о достоинствах и недостатках собственно литературного таланта г. Плещеева. Мы это делали не раз и при обозрении литературной деятельности других писателей; но за иных на нас вскидывались приверженцы «вечных» красот искусства, полагающие, что о произ-

ведениях, например, гг. Тургенева или Майкова нельзя рассуждать иначе как прикидывая к ним шекспировскую и дантовскую мерку. За г. Плещеева никто, кажется, не подымется на нас: всякий понимает, что смешно, говоря об обыкновенных журнальных рассказцах, становиться на ходули и, спотыкаясь на каждом слове, важно возвещать автору и читателям сбивчивые принципы доморощенной эстетики. Мы полагаем, что этот беззубый прием неприличен также и при разборе повести г-жи Кохановской, «Первой любви» Тургенева, «Тысячи душ» г. Писемского и т. п. Но есть господа, слишком уже погрузившиеся в патриотическую эстетику и полагающие, что произведениям наших лучших талантов можно приписывать великое значение с той же самой точки зрения, с какой поставляются на удивление векам творения Гомера и Шекспира. При всем уважении к нашим первостепенным талантам мы не считаем удобным рассматривать их с такой точки, и потому, при разборе русских повестей, стихотворений и пр., мы всегда старались указывать не на «вечное и абсолютное», навеки нерушимое художество их, а на тот прямой смысл, который имеют они для нас, для нашего общества и времени. Сочинить брошюрку о том, что эпос Гомера воскрес в усовершенствованном виде в «Мертвых душах»[1], провозгласить Лермонтова Байроном[2], поставить Островского выше Шекспира[3] – это все не новость в русской литературе. Да еще и не то бывало: теперь, вероятно, уже никто не помнит, кто у нас писал исторические романы

лучше Вальтера Скотта[4], кто у нас приравнивался к Гете, чьи чухоночки гречанок Байрона милей[5], кто в России воскресил Корнеля гений величавый[6], кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы[7] и пр., и пр. А все это было провозглашаемо в русской литературе и даже возбуждало споры и толки. Теперь по возможности стараются удерживаться от такой смешной игры в имена, но сущность современных эстетических рассуждений о «вечных, общечеловеческих, мировых» достоинствах наших писателей постоянно напоминает нам наивность старинных восклицаний о российских Гомерах и наших родных Байронах…

Так как о великом мировом значении таланта г. Плещеева никто не думает, то мы, значит, можем быть спокойны, отстраняя от себя эстетический суд над ним и обращаясь к вопросу, который нас интересует гораздо более, именно – к характеру содержания его произведений. Г. Плещеев написал довольно много: перед нами лежат два томика, в них восемь повестей; да тут еще нет «Папироски» и «Дружеских советов», напечатанных им в 1848 и 1849 гг.[8], да нет «Пашинцева» («Русский вестник», 1859 г., № 21–23), «Двух карьер» («Современник», 1859 г., № 12) и «Призвания» («Светоч», 1860 г., № 1–2), – трех больших повестей, напечатанных им уже после издания его книжек. Из них тоже могло бы составиться почти таких же два томика. Все это было прочитано без неудовольствия, некоторое время занимало собою известную часть русской публики, наравне с произведения-

ми других беллетристов, не заслуживших подозрения в гениальности. Что же, сказалось ли что-нибудь в этой массе печатной бумаги, имеет ли этот десяток больших и малых повестей какое-нибудь отношение к тому, что занимает теперь наше общественное внимание? Или это повести просто для упражнения в процессе чтения, вроде произведений гг. Каменского, Воскресенского, Вонлярлярского и некоторых новейших, имена которых могут быть небезызвестны отчасти и читателям «Современника»?.. – Нам приятно на этот вопрос отвечать, что рассказы г. Плещеева никак не могут быть отнесены к последнему разряду. Элемент общественный проникает их постоянно и этим отличает от множества бесцветных рассказов тридцатых и пятидесятых годов. Тогдашние рассказы, как известно, отличались тем, что в них человек представлялся существом не общественным, а изолированным. Нужно было автору два-три-четыре лица для развития сюжета, – так эти два-три-четыре лица являлись в повести, без всякого отношения к остальному миру, как будто бы они жили на необитаемом острове, где все нужное являлось для них по щучьему веленью. Для развязки же обыкновенно приводился, неизвестно откуда, какой-нибудь таинственный deus ex machina[1], вроде богатого дядюшки, сердитого начальника, пожара, наводнения, благодетельного вельможи и т. п. Это было, впрочем, более в тридцатых годах; в пятидесятых же обыкновенно герои, заброшенные на необитаемый ост-

[1] Буквально: бог из машины *(лат.). – Ред.*

ров, сами начинали чувствовать разочарование и уезжали с острова, оставляя героинь плакать и сокрушаться: тем дело и кончалось… Все эти проделки мало коснулись г. Плещеева, так как начало его литературной деятельности относится к сороковым годам, – когда была в ходу литература Горемык, Бедных людей, Петербургских вершин и углов[9], – и возобновилась она только в последние годы, когда во всей силе процветало обличительное направление. Во все время [жалкой] бесцветности пятидесятых годов г. Плещеев не появлялся в печати[10] и таким образом спасся от необходимости бежать с своими героями на необитаемый остров и остался в действительном мире мелких чиновников, учителей, художников, небольших помещиков, полусветских барынь и барышень и т. п. Мирок этот знаком ему, как видно, довольно хорошо и изображается им с полной откровенностью. В истории каждого героя повестей г. Плещеева вы видите, как он связан с своей средою, как этот мирок тяготеет над ним своими требованиями и отношениями, словом – вы видите в герое существо общественное, а не уединенное. Элемент общественности присутствует в каждой повести…

Таково главное достоинство рассказов г. Плещеева; но нужно признаться, что это достоинство принадлежит ему наравне с очень многими из современных беллетристов. Что человек вполне зависит от общества, в котором живет, и что поступки его обусловливаются тем положением, в каком он находится, – это уже сделалось теперь почти неизбежной

точкой отправления для всякого мало-мальски здравомыслящего повествователя. Далее – что устройство нашей общественной среды не совсем удовлетворительно и что житейские отношения наши [совсем не] благоприятствуют нормальному развитию и свободной, здравой деятельности человека, – об этом тоже написано у нас весьма много рассказов, даже самыми посредственными беллетристами. Разлад человека [, хотя сколько-нибудь порядочного,] с окружающей действительностью сделался общей темой современной литературы. В этом предмете сходятся все партии, все направления, все оттенки литературных мнений. Возьмете ли вы «Русский вестник» или «Библиотеку для чтения», «Сын отечества» или «Моду» – везде одно и то же. Поэтому изображение антагонизма честных стремлений с пошлостью окружающей среды само по себе теперь уже недостаточно для привлечения общего участия; нужно, чтоб изображение было ярко, сильно, чтобы взяты были новые положения, открыты в предмете новые стороны, – тогда только произведение будет иметь прочный успех и автор выдвинется на заметное место в литературе.

Повести г. Плещеева не выходят из уровня, который установился вообще для произведений той школы беллетристов, которую, пожалуй, по главному ее представителю, мы можем назвать тургеневскою. Постоянный мотив ее тот, что «среда заедает человека». Мотив хороший и очень сильный; но им до сих пор не умели еще у нас хорошо воспользоваться.

Человек, «заеденный средою», изображался иногда в повестях тургеневской школы довольно живо; но самая «среда» и ее отношение к человеку рисовались бледно и слабо. Изображение «среды» приняла на себя щедринская школа, но та взяла только официальную сторону дела, да и то (и это главное) – в проявлениях чрезвычайно мелких[11]. Оттого во всех наших повестях, – обличительных или художественных, все равно, – всегда есть много недоговоренного и – главное – всегда есть место двум вопросам: с одной стороны – чего же именно добиваются эти люди, никак не умеющие ужиться в своей среде? а с другой стороны – от чего же именно зависит противоположность этой среды со всяким порядочным стремлением и на чем в таком случае опирается ее сила?

Сколько ни подбирай отвлеченностей для решения этих вопросов, они не прояснятся, пока не будут переработаны в общем сознании самые факты общественной жизни, от которых зависит вся сущность дела. Эта переработка фактов постоянно совершается в самой жизни; но для [ускорения и] большей полноты сознательной работы общества может быть полезна и беллетристика, и полезна тем более, чем больше художественной полноты и силы будут иметь ее образы. До сих пор школа «разъедающей среды» не дала нам вполне художественных рассказов потому именно, что никогда в ней не являлось полного соответствия между двумя элементами, из борьбы которых слагалось содержание повести. Вы видели человека заеденного; но вам не было ярко и полно пред-

ставлено, какая сила его ест, почему именно его едят [и зачем он позволяет себя есть]: на [все] это вы находили в повестях разве намеки, а никак не полные ответы. Таким образом, исполнение всегда было в этих повестях далеко ниже идеи, которая бы могла придать им жизненность, и оттого все повести этого рода имеют лишь временный, исторический смысл, тотчас исчезающий, как скоро в обществе возникают несколько новые комбинации житейских отношений и новые требования от жизни.

Теперь покамест повести, о которых мы говорим, читаются, хотя уж и не с тем интересом, как пятнадцать лет тому назад. Но уже и теперь являются запросы, которым герои подобных повестей решительно не в состоянии удовлетворить. У свежего и здравомыслящего читателя при чтении, например, хоть бы повестей г. Плещеева, тотчас является вопрос: чего же именно хотят эти благонамеренные герои, из-за чего они убиваются? И для разрешения своего вопроса читатель вникает в обстоятельства, служащие источником бед для благородных героев. Но тут мы не встречаем ничего определенного: все так туманно, отрывочно, мелко, что не выведешь общей мысли, не составишь себе понятия о цели жизни этих господ. Они горячатся (как Костин[12]) из-за Фредерики Бремер и Жоржа Занда и тем навлекают на себя нерасположение «среды»; вразумляют (как Городков[13]) высшего начальника относительно негодности своего ближайшего начальника и через то сами попадают в опалу;

вопиют (как Костин опять) о пользе обличительной литературы и тем восстановляют против себя нужных людей… Из всего этого видно, что у них есть добрые стремления, есть желание, чтобы людям было получше жить на свете, чтобы уничтожилось все, что мешает общему благу. Но дают ли они себе ясное понятие о том, что нужно для осуществления их желаний? Сознают ли они, какие обязанности налагаются на них самих, как скоро они убеждаются в необходимости достижения той цели, которая кажется им святою и высокою? Нет, они постоянно отличаются самым ребяческим, самым полным отсутствием сознания того, к чему они идут и как следует идти. Все, что в них есть хорошего, – это желание, чтобы кто-нибудь пришел, вытащил их из болота, в котором они вязнут, взвалил себе на плечи и потащил в место чистое и светлое. Они бы не стали противиться такому переселению; напротив, были бы очень рады. Но надо согласиться, что в этом особенной заслуги с их стороны нет и что если есть люди, лишенные даже желания выйти из болота, так и это еще не дает нам права считать героями тех, которые желают из него выбраться.

Нам скажут, что в Костине, Городкове и пр. нам и не выставляются герои и идеалы, а просто показывается, как жизнь ломает и переламывает иногда своим жерновом доброе стремление, зародыши добра и честности. Но мы и не требуем непременно идеальности, мы хотим только большей определенности и сознательности в этих лицах. И это нуж-

но нам потому, что мы хотим сочувствовать честным лицам повести, а между тем для нас очень трудно сочувствие к людям ничтожным, бесцветным, пассивным, к людям ни то ни се… Да и самый художественный интерес повести требует, чтобы в изображении борьбы выставлялись враги, которых силы уравновешивались бы чем-нибудь. А тут – представляется громадное чудовище, называемое «дурною средою» или «пошлою действительностью», и, против этого чудовища, выводятся какие-то пухленькие младенцы, наивные, ничего не знающие и не умеющие, ко всему доверчивые и по своему внутреннему бессилию находящиеся действительно в полной зависимости от окружающей «среды». Скажут, что других нет, что среда-то наша именно такими и делает всех людей, попадающих в нее. Положим. Но в таком случае, что же остается писателю? Остается причислить к той же «среде» и своих героев и уже относиться к ним точно так же отрицательно, как относится он ко всему, их окружающему. Если наша среда не только сама не хороша, но губит и все хорошее, что в нее попадает, и если дурное начало так в ней сильно, что до сих пор невозможно было выискать достаточно твердого и деятельного характера, который бы устоял против нее и поставил на своем; если так, то ясно, что в этой среде нечего и искать, кроме предмета для самой беспощадной сатиры. Таким образом, отношение автора к своим благородным юношам будет совершенно другое: не сочувствие мечтательным и неопределенным их стремлениям

будет он возбуждать в читателе, а скорее насмешку над тем, что они, кроме своих отвлеченных фантазий, ничему существенно-полезному не обучаются. Герои г. Плещеева, например, обыкновенно поступают на службу; там не уживаются или просто не получают хода и удаляются в отставку. Затем они пробуют литературную работу; но у них таланта не хватает. После того им остается лишь два средства существования: давать уроки и переписывать бумаги. Больше они ничего не умеют, ни к чему не способны. Хоть бы веслами работать умели – на Неву или на Волгу перевозчиками бы нанялись или, если бы расторопность была, – поступили бы в дворники, а то мостовую мостить, с шарманкой ходить, раек показывать пошли бы, когда уж больно тошно приходится им в своей-то среде… Так ведь ничего не умеют, никуда сунуть носа не могут. А тоже на борьбу лезут, за счастье человечества вступаются, хотят быть общественными деятелями… Да спрашивается, – что они могут делать-то, тщедушные и кабинетные люди? Мечтатели они все, а не деятели и даже не прожектеры. Мечтают-то они очень хорошо, благородно и смело; но всякий из нас может сказать им: «Какое дело нам, мечтал ты или нет?» – и тем прекратить разговор с ними. Рассуждая психологически, конечно, нельзя не уважить прекрасных свойств души Костина и Городкова; но для [общественного дела], смеем думать, от них так же мало могло быть толку, как и от других юношей, о которых рассказывает г. Плещеев в других повестях. За что же будем мы

им сочувствовать? Зачем же писать симпатические рассказы об их мечтах и внутренних страданиях, не приводящих ни к чему путному?

За такие жесткие строки нас, разумеется, упрекнут в неблагородстве и сухости сердца, в недостатке симпатии к высоким стремлениям и в фаталистическом поклонении факту. Мы заранее признаем справедливость всех подобных упреков и потому продолжаем свои объяснения, предавшись судьбе.

Да, прекрасным стремлениям души мы не придаем никакого практического значения, пока они остаются только стремлениями; да, мы ценим только факты и только по действиям признаем достоинство людей. Почему мы так судим, объясняется очень просто. Прекрасными стремлениями мы признаем все естественные неиспорченные стремления человеческой природы; все прекрасные стремления мы признаем следствием естественных, нормальных потребностей человека. Как скоро требование искусственно, мы его признаем дурным, вредным или смешным, как бы оно ни было прекрасно и величественно. Ежели правда, что Нерон сожег Рим, чтобы иметь живой материал для описания пожара Трои, то, при всем великолепии подобного зрелища и при всей эстетичности цели, мы будем считать подобную фантазию отвратительною, как противную нормальной человеческой природе. Так точно отвратительны, например, факирские истязания над собою, браминское презрение к париям,

кулачное право и т. п. Потому именно все это и гадко (а в иных проявлениях и смешно), что составляет искажение человеческой природы. Сущность природы собственно человека определить вкратце довольно мудрено; но что во всяком случае не подлежит сомнению, так это ее способность к развитию. Для того чтобы иметь возможность развиваться, она требует избежания всяких столкновений и помех. А для этого она, очевидно, предписывает человеку не мешать и другим, потому что иначе он и сам себе помешает, остановит и стеснит себя в своем развитии. Таким образом, признавая в человеке [одну только] способность к развитию и [одну только] наклонность к деятельности (какого бы то ни было рода) и отдыху, мы из этого одного прямо можем вывести – с одной, стороны, естественное требование человека, чтоб его никто не стеснял, чтоб предоставили ему пользоваться его личными; [неотъемлемыми] средствами и безмездными [, никому не принадлежащими,] благами природы, а с другой стороны – столь же естественное сознание, что и ему не нужно посягать на права других и вредить чужой деятельности. Это самый простой закон, по которому птица не старается свить гнездо: именно на том месте, где уже вьет гнездо другая птица, стадо баранов спокойно разделяет между собою луг, где пасется, и т. п. А между тем к этому закону и сводятся все стремления к [независимости,] самостоятельности и строгой справедливости, все гуманные чувства, все антипатии к [деспотизму и рабству]. Все это такие качества, кото-

рые вовсе не составляют высшего, тысячелетиями цивилизации выработанного и с большим трудом в университетах, академиях и эстетиках добываемого совершенства. Напротив, качества эти [*должны* быть] присущи каждому человеку, даже на самой низшей степени развития. [Вспомним хоть Карамзина, нашего незабвенного историографа: по его словам, даже «народы дикие любят свободу и независимость».] Что же касается до гуманных чувств, то есть до того, чтобы никому не мешать и ни у кого не отнимать ничего – так этот принцип мы даже у хищных животных видим; волки не бросаются друг на друга, чтобы отнять добычу, а предпочитают ее добывать сами; шакалы и гиены ходят целыми стаями, и кровопролитные войны между ними весьма необычны [; вообще – ворон ворону глаза не выклюнет] – [Но волки овец таскают; значит, принцип нестеснения чужой деятельности у них слаб? –] По этому соображению мы не говорим, чтобы уважение к чужому и чувство гуманности было [(и в волках и в людях)] следствием каких-нибудь возвышенных идей. Мы выводим его из простого расчета: «Буду лучше свое дело делать, чем другим мешать; так будет мне выгоднее и спокойнее». На этом-то основании и волк не дерется с волком, а хватает овцу, еще никем не захваченную, из-за которой истории быть не может. Это он делает вследствие естественного побуждения – голода, так же точно, как человек срывает цветок, удит рыбу, убивает и жарит себе какую-нибудь утку или куропатку. Тут не может быть борьбы с подобным се-

бе, нет враждебных столкновений с своей породой, – вот о чем именно мы говорим. Человек, терпеливо просидевший целый день за уженьем каких-нибудь ершей, не захочет, однако, стащить рыбу из чужого садка, предполагая, что это может кончиться нехорошо. И, с другой стороны, человек, владеющий садком, может спокойно смотреть на чужих рыбаков, ловящих рыбу в свободных местах реки, но не останется равнодушным, когда потащат рыбу из его садка. Тут естественное требование, чтоб ему не мешали и не стесняли его прав, вызывает его даже на борьбу, – и здесь опять тот же расчет: чтобы мне не потерять возможности действовать беспрепятственно и свободно, надо избегать всяких помех; но уж если помеха явилась, то надо тотчас удалить ее. Иначе вся свобода деятельности уничтожается, всякая возможность естественного развития останавливается.

Все это отступление мы сделали к тому, чтобы показать, как просты и естественны для человека те стремления и понятия, которые обыкновенно выставляются в героях повестей наших как что-то особенное, высшее, поднимающее их над уровнем обыкновенной толпы. Если посмотреть просто и беспристрастно, то окажется, что желание избавиться от стеснений и любовь к самостоятельной деятельности так же точно неотъемлемо принадлежат человеку, как желание пить, есть, любить женщину. Было время, когда можно было удивить всяким фокусом, и люди, [по целым неделям лишавшие себя пищи и питавшиеся только водою,] подавлявшие в

себе естественные потребности, [возбуждали удивление толпы и] считались нравственными героями. Но теперь мы не уважаем подобных заслуг, [равно] как не уважаем человека [и] за то, если он лишил себя способности любить женщину или заглушил в себе собственную волю до того, что уже превратился в автомата [, только исполняющего чужие приказания]. Все подобные личности и все подобные проделки мы признаем искажением человеческой природы и нарушением естественного порядка вещей. Значит, нормальным положением мы признаем то, чтобы человек пил, ел, любил женщину, сознавал свою личность, стремился к свободной деятельности. После этого с какой же стати требовать от нас симпатии к человеку только за то, что он пьет и ест или ненавидит стеснение? Неужели это с его стороны заслуга, а не естественное, неизбежное требование его организма? Человеку не нравится, когда велят делать не то, что он хочет, и не так, как он хочет: какое образование, какое душевное величие нужно для этого – не правда ли!! подумайте-ка в самом деле: ведь он чувствует, что [ему руки связывают, ведь] ему тяжело, что он стеснен, ведь он желает делать что-нибудь по своему разуму и воле!.. Бедный благородный юноша или муж! Как не пролить слезы сочувствия над его участью?

И точно, слезы проливались, благородные юноши изображались в повестях десятками и, несмотря на свою очевидную пошлость, занимали собою наших талантливейших писателей и в общем мнении признавались за людей весьма спо-

собных и нужных. На это были, говорят, в свое время и свои причины; но теперь мы можем смотреть на дело немножко иначе. Требуя от людей дела, мы строже можем допрашивать всяких мечтателей, как бы ни были высоки их мечтания; и по допросе окажется, что мечтатели эти – весьма ничтожные люди.

«Нет, неправда! – закричат поклонники гамлетов Щигровского уезда[14] [и всех им подобных:] – Отчего же, если высокие мечты этих героев так естественны и просты, – отчего же они не разделяются целым миром? Отчего только у немногих избранных натур проявляются эти стремления, а большинство не только не понимает их, но даже старается им противодействовать? Не есть ли великая заслуга уже и то, что эти мечтатели умели понять и усвоить истинные человеческие стремления, тогда как все вокруг их искажено, развращено, предано лжи или совершенно безразлично ко всему?»

Подобные вопросы и замечания приходится слышать очень часто; но все они происходят только от поверхностного взгляда на дело. Конечно, можно признать известную долю заслуги в человеке, даже и ничего не сделавшем для общества, только уже за то, что он силою размышления и самостоятельных наблюдений дошел до сознания ложности того, что всеми окружающими его выдается за истину. Среди выродившихся субъектов человеческой породы замечателен был бы экземпляр, настолько сохранивший в себе пер-

воначальный тип человечества, что никакими силами нельзя стереть и уничтожить его. О такой личности можно бы написать и любопытную повесть, и над воспроизведением или созданием ее мог бы не бесплодно потрудиться самый первостепенный талант какого угодно европейского народа. Но ведь не такие личности видим мы в нашей литературе. Нам не представляют внутренней работы и нравственной борьбы человека, сознавшего ложность настоящего порядка и упорно, неотступно добивающегося истины; нового Фауста никто нам и не думал изображать, хоть у нас есть даже и повесть с таким названием…[15] Нет, наши благородные юноши обыкновенно получают свои возвышенные стремления довольно просто и без больших хлопот: они учатся в университете и наслушиваются прекрасных профессоров, или в гимназии еще попадают на молодого, пылкого учителя, или входят в кружок прекрасных молодых людей, одушевленных благороднейшими стремлениями, свято чтущих Грановского и восхищающихся Мочаловым, или, наконец, читают хорошие книжки, то есть «Отечественные записки» сороковых годов. Весьма часто все эти счастливые случайности сходятся вместе и помогают одна другой. Таким образом, развитие простых человеческих стремлений совершается в добрых юношах без особенных героических усилий; им хочется есть, им со всех сторон говорят: пойдемте обедать, и они идут. Вот и все.

А отчего же другие нейдут? Отчего из людей, точно так

же учившихся и слышавших прекрасные наставления, выходят взяточники, фаты, формалисты, мелкие деспоты и т. д. и т. д.?.. И на эти вопросы легко ответить: от глупости, или, лучше сказать, от наивности. Видя, что естественная наклонность к самостоятельной, нормальной деятельности встречает препятствие на прямой дороге, все эти люди пробуют свернуть с нее немножко, в надежде, что, обошедши одно препятствие, они опять могут попасть на свой прежний путь. Расчет опять тот же: «Лучше я обойду, чем драться и лезть напролом». Но здесь расчет оказывается ошибочным, потому что препятствие не одно, а тысячи их, и чем далее человек уклоняется от первоначального пути, тем сильнее умножаются и препятствия. И он уже поневоле принужден вилять, нырять, наклоняться, перескакивать, топтать, что может, по дороге и самого себя подставлять под всякие мерзости, где нужно, – чтобы только как-нибудь продолжать свое странствие. Человек в наивности своей думает: «Заплачу деньги за получение места, если нельзя получить иначе; зато я принесу пользу на этом месте». Но оказывается, что единовременной платой нельзя отделаться, нужны и потом расходы, если не в виде прямых денежных приношений, то в виде разных обедов, вечеров, экстренных распоряжений по должности и т. п. Для поддержания этого оказывается нужным делать безвозвратные займы, принимать благодарности, брать взятки; чтобы получать взятки и благодарности, надо кривить душою в делах, при этом необходимо награждать негодяев и теснить

честных людей и т. д. Так и запутывается человек, при каждом шаге все-таки думая, что он избирает наилучшее средство для устранения помех и доставления простора своей деятельности.

Благородные юноши, которыми так долго и усердно занималась наша литература, не запутываются таким образом и потому представляются гораздо выше остальной толпы. Но, всмотревшись в них пристальнее, вы найдете, что если они не заблуждаются, так это единственно потому, что никуда нейдут, а сидят все на одном месте. Они ничуть не проницательнее тех, которые пошли по окольной дороге, ничуть не яснее их понимают высокую важность охранения своих человеческих стремлений неприкосновенными от посторонних помех, они только – ленивее. При начале жизненного поприща у тех и других одинаково есть желание идти прямо, свободно и сознательно к цели полезной и доброй; тем и другим одинаково представляются громадные препятствия, которые на первых же шагах нужно преодолеть. И ни те, ни другие не имеют достаточно бодрости и силы, чтобы прямо начать борьбу с этими препятствиями: одни хотят обойти и, таким образом, теряют из виду цель и попадают в [отвратительное] болото всяческой неправды, а другие остаются на месте и сидят сложа руки, с презрением и желчью отзываясь о тех, которые ударились в сторону, и дожидаясь, не явится ли какой-нибудь титан да не отодвинет ли гору, заслонившую им путь. И – что всего забавнее – эти господа начина-

ют жаловаться – не на свою лень и бессилие, и даже не на гору, ставшую на их пути, а на своих товарищей, отправившихся в обход. И общая людям наклонность к деятельности выражается в них тем, что они нападают на несчастных путников и стараются толкнуть их на прямую дорогу. «Да ведь тут нельзя идти, – возражают бедняки: – там мы найдем другую дорогу». – Нет, вы должны идти здесь! – кричат разгорячившиеся юноши, а между тем и сами нейдут, и горы не прокапывают, не сравнивают [, не взрывают], и не сказывают, нет ли где тропинки, по которой бы можно подняться. Они сами ничего не знают, ничего не умеют, к грубой работе не способны; [шумного взрыва не вынесут их нервы;] они ничем не могут помочь путникам, кроме крика: «Не ходите туда, а идите здесь»… тогда как здесь-то и нельзя идти, не прокладывая новой дороги.

«Но все-таки они понимают, что не нужно уклоняться в сторону, а следует держаться прямой дороги; оттого они никак не могут попасть в тину вонючего болота, в которое погружаются другие на окольной дороге: вот за что заслуживают они уважения».

Нимало. Если мы будем так легко расточать наше уважение всем, кто не делает мерзостей, то принуждены будем согласиться со всеми нелепостями г. Ахшарумова, который именно с этой точки находит какие-то великие патриархальные доблести в Илье Ильиче Обломове[16]. Людей, *«гордых тем, что не вредят»,* очень много на свете; но мы не желаем

даже г. Ахшарумову наслаждаться такою гордостью. Идиллические мечты о счастливом уединении от людей – теперь вовсе не кстати. [Элемент общественный вступил в свои права, и] мы должны рассматривать себя как членов общества, обязанных что-нибудь делать для него, так как иначе мы будем ему вредны уже одним своим тунеядством.

Да и можно ли назвать истинным пониманием и убеждением то смутное, робкое полузнание, которым отличаются доблестные представители лучших стремлений в нашей литературе? По нашему мнению, убеждение и знание только тогда и можно считать истинным, когда оно проникло внутрь человека, слилось с его чувством и волею, присутствует в нем постоянно, даже бессознательно, когда он вовсе о том и не думает. Такое знание, если оно относится к области практической, непременно выразится в действии и не перестанет тревожить человека, пока не будет удовлетворено. Это своего рода жажда, незаглушаемая, неотлагаемая. Когда я мучусь жаждой в безводной равнине и вдруг вижу ручеек, то я брошусь к нему, несмотря на то, что он окружен колючими кустами, из которых выглядывают змеи. [Самое худое, что я могу потерпеть в этих кустах, – это смерть: но ведь я все равно умру же от жажды, стало быть, я ничем не рискую…] Так действует и истинное, живое, полное убеждение [: человек может подвергаться опасности умереть, добиваясь его осуществления; но это ничего не значит, – он точно так же умер бы и от того, если бы принужден был заглушить свое убеж-

дение…] Найдите же хоть в ком-нибудь из добрых юношей нашей литературы такую решительность и полноту убеждений. Не найдете ни в одном.

Но еще это бы ничего: мы уже сказали, что не требуем героизма, а хотим только большей сознательности и определенности стремлений в добрых юношах. И этого не находим. Они заражены очень высоким мнением о своей чистоте и твердости и потому никак не хотят оглянуться вокруг себя и уразуметь хорошенько свои отношения ко всему окружающему. В наивности и неумелости они не уступают самому простодушному из тех людей, которые всю жизнь идут в сторону от прямой дороги, воображая, что – все равно – придут к той же точке. Первое, что представляется в наших юношах, это жалоба на своих спутников. Они хотят идти прямо, но толпа около них стремится в сторону, и их тащат за собою; прямостремительные юноши начинают волноваться и шуметь на толпу, зачем она, не так идет, начинают жаловаться на толчки, получаемые ими от бегущих мимо них, утверждают, наконец, что нет возможности идти прямо, ибо толпа не пускает… Но благонамеренные, прямые юноши не дают себе труда даже подумать серьезно о том, отчего же, однако, их спутники именно в этом месте сворачивают в сторону? Неужели так, по прихоти, без всякой причины и надобности? Если бы они задали себе этот вопрос, то увидели бы, что [причина не в толпе идущих, а в препятствии, стоящем на дороге: что] прямую дорогу всякий бы охотнее выбрал, если

б не встретилось на ней особенных неудобств, и что вовсе не толпа виновата в том, если прямой путь стремительных юношей затрудняется. Стоило бы немножечко подумать, и все эти жалобы на «среду» на ее [неприготовленность,] пошлость и злонамеренность исчезли бы сами собою. Положим, что и «среду» похвалить не за что: вместо того, чтобы проложить прямую дорогу, она делает такие крюки, из которых потом и выбраться не может: это очень глупо и нерасчетливо. Но ведь и юноши-то сами не пролагают дороги, а толкутся на одном месте, в безделье и недоумении, сваливая вину на других и даже не понимая, что другие изменяют прямое направление решительно по той же самой причине, по которой они сами останавливаются. Доблестные юноши мало имеют человечества в груди и смотрят на все как-то официально, при всей видимой вражде своей ко всякой формалистике: они воображают, что человек идет в сторону и делает подлости именно потому, что уж это такое его назначение, так сказать – должность, чтобы делать подлости; а не хотят подумать о том, что, может быть, этому человеку и очень бы хотелось пройти прямо и не сделать подлости и он очень бы рад был, если б кто провел его прямой дорогой, – да не оказалось к тому близкой возможности. Благонамеренные юноши восстают ужаснейшим манером, например, на взяточников, на дурных помещиков, на светских фатов и т. п. Все это прекрасно и благородно; но, во-первых, бесплодно, а во-вторых – даже и не вполне справедливо. В официальной сухо-

сти своих понятий о людях и в самообольщении собственной гордости, добрые юноши полагают, что только им одним и доступны человеческие стремления, а другие все уже совершенно им чужды. Они воображают, что чиновник чувствует особенное наслаждение от неправого разрешения дела, что помещик от природы призван к тому, чтобы [сечь и] обременять работами своих крестьян, что светский франтик бывает на верху блаженства, ломая свои ноги еженощно в течение целой зимы и просиживая по целым часам за своим туалетом. Юноши никак не хотят понять того, что все это делается вследствие общего человеческого стремления – найти себе возможно лучшее положение, обеспечить себе возможность свободной и покойной жизни. [Сделайте так,] чтобы чиновнику было равно выгодно – решать ли дела честно или нечестно, – неужели вы думаете, что он все-таки стал бы кривить душой, по какому-то темному дьявольскому влечений натуры? Дайте делам такое устройство, чтобы «расправы» с крестьянами не могли приводить помещика ни к чему, кроме строгого суда и наказания, – вы увидите, что «расправы» прекратятся. Поставьте какого угодно фата [даже аристократической породы и военного звания,] в такое общество, в котором танцмейстерское совершенство встречается с насмешливой улыбкой, на туалет не обращают внимания и предъявляют человеку более серьезные требования: и он – даже он! – сделается серьезнее. Надеемся, что против этих положений спорить не станут: о них уже так часто и так мно-

го говорено было [в «Современнике»[17], а теперь мы встречаем повторение тех же мыслей и в других изданиях]. На такой мысли основана даже целая повесть г. Плещеева «Пашинцев», напечатанная в прошлом году в «Русском вестнике». Пашинцев этот – ни то ни се, «ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет»; есть у него и хорошие наклонности, и не глуп он, и сердце у него доброе, но воспитан он дурно, и фатства в нем много. Приехавши из Петербурга в губернский город, он попадает в идеально хорошую семью и начинает серьезно работать над своим развитием; но, познакомившись с обществом губернским и получив там некоторые успехи, он опять тонет в его грязи и пошлости. В заключение здравомысл повести, г. Заборский, повторяет о нем старую песню, – что его «среда заела». Мы против этого и не спорим; мы требуем только продолжения и распространения этой мысли. Пашинцев, как и множество других героев повестей этого рода, вовсе не представляет феномена; вся среда, заедающая его, состоит именно из таких же людей, как и он сам: у всех есть добрые наклонности, но нет инициативы в характере, нет решимости на самостоятельную деятельность. [Теперь обратитесь же к каждому из членов этой «среды» с вопросом г-жи Простаковой: портной учился у другого, другой у третьего и т. д.… То есть одного заела среда, другого среда, третьего среда, да ведь из этих – одного, другого, третьего – среда-то и состоит; кто же или что же сделало ее такою заедающею? В чем главная-то причина, корень-то всего?] Нам кажется,

что благородные юноши, нейдущие по дурной дороге, а стоящие на одном месте, прежде всего, на досуге, должны были бы об этом подумать и сообразно с тем расположить свои действия или по крайней мере свои наставления путникам, сворачивающим в сторону. Между тем юноши вовсе об этом не думают и вымещают свой гнев на первом встречном. В другой повести г. Плещеева «Благодеяние» это выражается довольно хорошо. Прекрасный юноша Городков принят на службу и облагодетельствован важным лицом; у важного лица правитель канцелярии – Юконцов, взяточник и негодяй; этот Юконцов делается ближайшим начальником Городкова и начинает ему [пакостить]. Городков, в своей наивности воображающий, что важное лицо и благодетель его только по неведению терпит при себе такого человека, как Юконцов, принимается вразумлять благодетеля на счет Юконцова. Понятно, что из этого выходит. Затем благодетель хочет выдать за Городкова свою отцветшую любовницу и делает ему это предложение через Юконцова же. Городков ругает Юконцова и говорит: «Не может быть, чтоб генерал был так низок и бессовестен; это вы сами выдумали нарочно». Разумеется, все это передается генералу, и вслед за тем Городков выгоняется из службы и умирает от чахотки. Спрашивается: какая же причина его гибели? Его же собственная наивность. Вольно же ему было предполагать, что благодетель его так добр и глуп вместе, вольно ему было видеть препятствие для своей честности в Юконцове, который вовсе не был настоя-

щим самостоятельным препятствием, а был (пожалуй, и не теперь, а гораздо прежде, но все-таки был) таким же несчастным путником, принужденным – или остановиться в начале пути, или уклониться в окольные дорожки, так как прямая дорога была заставлена.

[«Так, значит, надо считать главным препятствием это важное лицо, благодетеля Городкова?..» Боже мой, какой наивный вопрос!.. Неужели нужно отвечать на него?.. Нет, нет, и тысячу раз нет: благодетель Городкова тоже должен быть отнесен к несчастным и неразумным путникам, – и не только он, но и его начальник, и начальник его начальника, и всякий человек вообще, вся среда…

Кто же виноват во всем этом, где же коренное начало всех этих помех, толчков и беспокойств?

А где начало толчков, которые вы получаете в узком переулке, выводящем к какой-нибудь ярмарочной площади? – Не виноват тут никто: вас толкает и теснит один, потому что его теснит другой, а того третий. Но вся причина в том, что к ярмарочной выставке все спешат, а улица тесна… Хотите не испытать толчков в своем путешествии для закупок нужных вам вещей? Не деритесь понапрасну с людьми, бегущими вместе с вами, – а постарайтесь устроить вместо кратковременной ярмарки постоянный торг да сделайте улицу пошире. Тогда и не будет никакой давки и «среда» перестанет обременять нас.

Но чтоб устроить такой торг, надо иметь капитал, и до-

вольно большой; а] юноши наши тем-то и плохи, что их одолела всяческая скудность и нищета. [Недостатку *большого* капитала еще можно бы помочь: недаром у нас нынче развились акционерные компании, и все делается на паях и в складчину. Но, к несчастью, этим беднякам и в складчине-то участвовать нечем: ничего-то они не умеют, ничего не знают, ни на что не годятся. Ежели их дожидаться, то придется капитал составлять медленнее, чем Акакий Акакиевич скапливал деньги на шинель.] Вместе с прекрасными желаниями, в них господствует такая вялость, [запуганность,] такое младенчество воззрения, что на них столько же мало надежды в практическом отношении, как и на пустейших фатов и закоренелых взяточников. У г. Плещеева (мы берем примеры только из его повестей, но могли бы привести и много других), например, Костин – чего, кажется, добродетельнее? А между тем припомните эту повесть (она была в «Современнике»): какая наивность, какое незнание жизни, какая неопределенность в средствах и цели и какая бедность средств у этого прекрасного, безукоризненного юноши!.. Он умирает в чахотке (безукоризненные герои у г. Плещеева, подобно как и у г. Тургенева и других, умирают от изнурительных болезней), ничего нигде не сделавши; но мы не знаем, что бы мог он делать на свете, если бы даже и не подвергся чахотке и не был беспрерывно заедаем средою. Нам пришло в голову: что, если бы Костина поселить в Англии, не давши ему, разумеется, готового содержания; что бы он

стал там делать, на что бы годился?.. По всей вероятности, и там умер бы с голоду, если бы не нашел случая давать уроки русского языка… Да там о нем и не пожалели бы, потому что людей, одаренных благонамеренностью, но не запасшихся характером и средствами для осуществления своих благих намерений, там давно уже перестали ценить.

Признаемся, мы бы не стали всего этого говорить по поводу повестей г. Плещеева, если бы видели, что он сам не возвышается над поклонением благонамеренности своих героев. Но мы заметили в нем и другое, более простое и правильное отношение к ним, в котором уже обнаруживается требование дела, а не одних желаний и надежд. Если г. Плещеев с преувеличенной симпатией рисует нам своих Костиных и Городковых, так это, конечно, зависит от того, что других, более выдержанных практически типов, в том же направлении, до сих пор еще не представляло русское общество. Что же делать? Недавно мы видели, как один из талантливейших наших писателей пробовал создание дельного практического характера и как ему мало удалось это создание, несмотря на то, что [он взял еще не русского человека и] дал ему такую цель жизни, которая представляла полную возможность наполнить его историю самой живой деятельностью…[18] Видно, еще не пришло время создания деятельных и твердых и в то же время честных характеров в нашей литературе. Но оно приближается: самые попытки доказывают это, как бы они ни были неудачны.

А с другой стороны, о том же самом свидетельствует и распространение иронического воззрения на всех «лишних людей», которым так много симпатизировали прежде.

Это ироническое отношение замечаем мы и во многих повестях г. Плещеева. Его герои вообще разделяются на три разряда; одни умирают от чахотки, – это лучшие (смотри выше); другие спиваются с кругу, – это тоже не совсем дурные; третьи устраиваются так себе, женятся на богатых, успешно служат и т. п., – это уж совсем пустые. Собственно говоря, если смотреть с общественной точки, то между этими тремя разрядами разницы оказывается мало: все бездельничают – не столько потому, что нельзя ничего делать, сколько потому, что ленивы и ничего не умеют, и все губят себя и тех, кто их любит, не по злости и не с намерением, а просто по невинности рассудка и по бесхарактерности. Поземцев (в повести «Призвание»), принадлежащий к последнему разряду, женится и губит свою жену, грубым образом заводя связь с какой-то кокеткой и делая жене бессовестные упреки; Буднев[19], второго разряда, точно так же бестолково женится и губит свою жену тем, что влюбляется в какую-то девчонку, на которую тратится, скрывает от жены причину своих долгих отлучек, своей печали и, наконец, запивает горькую. Так точно Пашинцев (удостоенный автором даже несчастной смерти) расстраивает семейное счастие, принявшись «развивать» и привязавши к себе девушку, к которой сам ничего не чувствовал и которая была уже невестой другого; то же

самое делает и Ивельев, принадлежащий к самому последнему разряду (в «Шалости»). Положим, что Ивельев это делает просто от безделья, из праздного любопытства, а Пашинцев с долею искреннего убеждения, что он принесет пользу девушке; но результаты-то одни и те же. Как видите, если сделать resume из повестей г. Плещеева, то выйдет, что хорошо толкующие и благонамеренные юноши не могут даже «гордиться тем, что не вредят». Костин, Городков, Заборский, правда, не делают того, что другие; но и они, по неумению соображать свои средства с предстоящим им делом, тоже скорее способны вредить тем, кто их любит, нежели приносить пользу. Костин, например, совершенно безвинно сделался причиной страданий бедной женщины, полюбившей его, жены того помещика, у которого был он учителем детей: и беда была не в том, что она полюбила его, а в том, что он ничего не мог для нее сделать, не мог даже убежать никуда с нею, так как сам не имел ни пристанища, ни копейки, да и никакого таланта за душою.

Разумеется, если рассуждать психологически, то мы никак не поставим Костина на одну доску с каким-нибудь Поземцевым или даже Пашинцевым. Как можно! Но в отношении к делу от них от всех, по нашему мнению, один толк. Вот почему нам приятно то отрицательное, насмешливое отношение автора к подобным героям, какое мы видим в «Шалости», в «Наследстве», в «Призвании» и др. Нам кажется только, что такое отношение надобно еще распространить…

Нам теперь вовсе не нужны люди с хорошими мечтами и с идиллическими ожиданиями. Мы пожили довольно, стали несколько опытны, и сами уже большею частью понимаем, что хорошее – хорошо, а дурное – дурно. Руководителей для этого нам не нужно. Даже для искоренения общественных неправд не так уже нужно слово убеждения, как нужно практическое пособие. Мошенничать, обманывать, извиваться, ползать, топтать других и каждую минуту бояться за себя, чтоб тоже не затоптали, – это никому не может быть приятно, за это никто не станет особенно держаться. Поэтому нечего кричать людям: не ползите, а идите прямо, не купайтесь в луже, не ешьте гнилого хлеба; это всякий рад сделать и без нас. А нужно позаботиться, чтобы выровнять дорогу, заготовить свежего провианта. Иначе самые искренние, благонамеренные крики будут иметь то же значение, как и фразистая подделка под филантропию, и какой-нибудь современный Костин рискует быть поставлен на одну доску с г. Кокоревым: от воззваний того и другого польза одинаковая[20].

Нечего опасаться, что практические начинания дельных людей встретят противодействие в «среде». Среда эта, по преимуществу состоящая из людей добродушных, спокойных и даже отчасти апатичных, довольно живо и верно изображена во многих повестях г. Плещеева, даже чисто анекдотического характера. Из всех этих рассказов, сцен и описаний этого простого быта без всяких претензий – можно видеть, что, при всей видимой апатии и неразвитости этих лю-

дей, есть и у них [что-то гнетущее, от чего они хотели бы избавиться, есть] смутное сознание неудовлетворительности своего положения. Уже одна возможность таких историй, какая описана в повести «Отец и дочь», с казначеем, у которого начальник взял казенные деньги без расписки и потом отрекся, – или хоть таких, как в «Чиновнице», где назначение чиновника на место зависит от горничной жены [важного] начальника, – одна возможность таких происшествий должна пробуждать чувство положительного недовольства. Никакого сомнения не может быть в том, что все эти «отсталые, невежественные, закоснелые в рутине» и пр. и пр. люди, как их честят прогрессивные юноши, с радостью примут все, что может им доставить [прочные гарантии в общественной жизни и] возможность, не мошенничая, пользоваться ее благами. Только не накидывайтесь на них без всякого права и резона, не требуйте от них того, за что не можете вознаградить их. У них нет самоотвержения, нет и инициативы: в этом их горе, их вина, если хотите. Но ведь инициативою-то в своем характере и вы не можете похвастать, о добродетельные и благонамеренные юноши, выставленные нам напоказ нашей литературою! Самоотвержение ваше тоже более отрицательное и пассивное, так что мы значительную долю его приписываем лени, обломовщине. Вы не лезете за неправым стяжанием и почетом, [за чинами, орденами и отличиями,] за домами и деревнями: так, – да ведь вы и ни за чем не лезете. Конечно, Тентетников не ездит покупать мертвых душ,

как Чичиков; да он, если бы и захотел, так не мог и не сумел бы этого сделать: он и в своем-то имении не выдержал, упрыгался на первых же порах и прекратил всякий надзор над работами. Что же тут за самоотвержение? Этаким-то самоотвержением Обломов и выработал себе свой характер.

Да, перечитывая повести г. Плещеева, мы всего более рады были в них веянию этого духа сострадательной насмешки над платоническим благородством людей, которых так возносили иные авторы. Начальные типы пустых либеральчиков, без всякого уже сочувствия к ним, набросаны уже были в некоторых повестях г. Тургенева. Но у г. Тургенева эти господа были постоянно второстепенными лицами и как бы оттеняли собою главных героев, которые уже истинно проникнуты благонамеренностью и действительно «заедены средою», вроде того, как Паншин при Лаврецком или Пигасов при Рудине. У г. Плещеева эти лица – главные, они составляют часто основу и цель повести, и из их изображений все более выясняется требование дела и дела, вместо громких слов, младенческих мечтаний, несбыточных надежд и верований.

Было одно время, когда воспевалась любовь к женщине и над страданиями платонических любовников читательницы проливали слезы, а читатели меланхолически задумывались. Потом стали смеяться над платонической любовью, и платонические горести ни в ком уже не встречали особенного сочувствия. Каким-то странным случаем дело повернулось

у нас на общественные вопросы, и вот мы двадцать лет читали повести и романы, в которых воспевалась *платоническая любовь к общественной деятельности,* платонический либерализм и благородство. Над этим новым платонизмом тоже проливали слезы и задумывались; но пора очнуться и от этого. Если платонизм в женской любви смешон, то в тысячу раз смешнее платонизм в любви к родине, к народу, к правде и пр.

Мы надеемся, что слова наши не покажутся никому странными [и непонятными]: в то время, когда все проникнуто стремлением к положительности и реализму, можно ожидать одобрения мысли о том, что платоническая, бездеятельная, плаксивая и отвлеченная любовь к общему делу никуда не годится. Можно, кажется, надеяться и на то, что наши будущие талантливые повествователи дадут нам героев с более здоровым содержанием и деятельным характером, нежели все платонические любовники либерализма, являвшиеся в повестях школы, господствовавшей до сих пор.

Примечания

В прямых скобках [] приведены те места, которые были изъяты по требованию цензуры из первоначальных журнальных публикаций статей и восстановлены впоследствии в первом издании Сочинений Добролюбова, подготовленном к печати Н. Г. Чернышевским в 1862 г.

Комментарии

1.

Добролюбов имеет в виду брошюру К. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», М. 1842.

2.

См., напр., статью Ап. Григорьева «О правде и искренности в искусстве» («Русская беседа», 1856, кн. III).

3.

Имеется в виду статья Б. Н. Алмазова «Сон по случаю одной комедии» («Москвитянин», 1851).

4.

Подразумеваются исторические романы М. Н. Загоскина.

5.

Перефразировка строк из стихотворения А. С. Пушкина «К Баратынскому» (1825).

6.

…воскресил Корнеля гений величавый… – слова Пушкина о Катенине («Евгений Онегин», гл. 1, строфа XVII).

7.

…кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы… – строка из стихотворения Пушкина «К Дельвигу» (1825).

8.

«Папироска» была напечатана в 1848 г. в «Современнике», «Дружеские советы» – в «Отечественных записках» за 1849 г.

9.

Имеется в виду повесть Д. В. Григоровича «Антон Горемыка» (1847), роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846), «Петербургские вершины» Я. Буткова (1846), «Петербургские углы» Н. А. Некрасова (1845).

10.

В 1849 г. А. Н. Плещеев за участие в кружке Петрашевского был арестован и сослан в Оренбургский край. Только в 1858 году он получил разрешение жить в столице.

11.

Щедринская школа – условное наименование многочисленных подражателей Щедрина, не шедших, однако, дальше мелкого поверхностного обличительства. Отзыв Добролюбова о Салтыкове-Щедрине и его «Губернских очерках» см. в статье под этим же названием, опубликованной в настоящем издании (стр. 123–149).

12.
Костин – герой повести А. Н. Плещеева «Две карьеры» (1859).

13.
Городков – герой повести А. Н. Плещеева «Благодеяние» (1859).

14.
Гамлет Щигровского уезда – герой одноименного рассказа И. С. Тургенева, написанного в 1849 г. (из цикла «Записки охотника»).

15.
Имеется в виду рассказ И. С. Тургенева «Фауст» (1856).

16.
Имеется в виду статья Н. Ахшарумова «Обломов», напечатанная в кн. II «Русского вестника» за 1860 г.

17.
В статьях Н. Г. Чернышевского: «Очерки гоголевского периода русской литературы» (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., Гослитиздат, М. 1947, т. III, стр. 5–309), «Антропологический принцип в философии» (там же, т. VII,

стр. 222–295) и др.

18.
Имеется в виду образ Инсарова в романе И. С. Тургенева «Накануне».

19.
Буднев – герой романа Плещеева «Буднев» (1858).

20.
Имеются в виду выступления в печати В. А. Кокорева, не раз высмеиваемые Н. А. Добролюбовым в сатирическом журнале «Свисток».